



PEHOME

АЛЕКСАНДР ВЕРГЕЛИС

В ЭПИЗОДАХ

Санкт-Петербург
2010

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
В31

Вергелис А.

В31 В эпизодах / Александр Вергелис. — СПб. : Реноме, 2010. — 64 с.

ISBN 978-5-91918-018-0

Это книга, лирический субъект которой как будто не претендует на главную роль в фильме о себе самом — отсюда и её название. Между тем, человеческое существование, воспринимаемое как серия не связанных друг с другом эпизодов, неожиданно выходит за пределы эпизодичности. Автор говорит: в жизни, а точнее в опыте её проживания нет мелочей, нет второстепенности и «заднего плана». Важным оказывается всё — и только присматриваясь к деталям, возможно охватить мир целиком. Данная книга — тщетная попытка самоопределения автора в этом мире. Главная проблема лирики Александра Вергелиса — невозможность существования в заданном формате, постоянный и, судя по всему, обречённый на бесконечность поиск самоидентификации. Быть самим собой у главного персонажа этой книги получается, лишь не будучи самим собой.

В книге собраны стихотворения, написанные в период 2002–2010 гг.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

*В оформлении обложки использован квадриптих
Александра Дашевского «Сутки парализованного»*

ISBN 978-5-91918-018-0

© А. Вергелис, 2010
© Издательство «Реноме», 2010

* * *

Увы, среди лирических светил
моя звезда едва видна, и все же
с тех самых слов себе позволю тоже
начать... Короче, вновь я посетил

тот самый край спустя пятнадцать лет
(отпущенных мне вовсе не для счастья),
нарушив данный в юности обет
не разрушать мираж, не возвращаться

туда, где что-то прятал влажный лес
и шелестела изгородь живая
о будущем, исполненном чудес.
И вот вернулся, изгнанный из рая

в пустой надежде надыхаться впрок.
Здесь так же славно. Но, скажи на милость,
что тут не так? Что больше изменилось —
душа героя или уголок,

куда туристы ломятся стеной,
где рядом с тенью одного поэта
вздыхает не нашедшая ответа
любовь к десятикласснице одной?

* * *

Обманутые оттепелью вишни
морозами застигнуты врасплох...
Среди снегов с поспешностью излишней
набухли почки — им хватило трех

дней солнца и тепла, чтобы поверить
в приход весны. А как хотелось нам
январь назвать апрелем: в январе ведь
все помыслы об этом... Где-то там,

в саду у дяди Вани вишни зреют,
и смерти нет, и нет зимы в году.
а наше солнце светит, да не греет,
а наши тени всё скользят по льду.

Взгляни в окно, там сад стоит, растерян,
остекленели небо и земля...
Не смейся, слышишь, я почти уверен:
за январем не будет февраля.

* * *

«Не для меня придет весна...» —
казачий хор поет в концерте,
и неизбежная о смерти
приходит мысль, и степь видна

из Дома творчества, куда
случайным ветром занесло нас.
У запевалы славный голос,
в кресты уперлась борода.

Как хорошо поют они,
им не помеха невский климат.
Они придут домой и снимут
свои фуражки; и огни

большого города зальют
певцов и слушателей; солнце
опишет круг; и разольется
весною Дон. И этот труд

привычный повторится тут —
жить, умирать, и петь, и плакать,
месить октябрьскую слякоть.
Как хорошо они поют...

* * *

Досадно было б умереть весной —
всю зиму проболеть, и вот в апреле...
Уж если выбирать — не в декабре ли
мир обладает меньшею ценой?

Зимою жизнь в убытке небольшом
и горечи не выплает над гробом.
Костлявая торговка по сугробам
домой вернется с меньшим барышом.

Что — жизнь, когда не поднести ко рту
ее даров, не взять ее за плечи?
К нездешней тишине привыкнуть легче,
когда ни птиц, ни яблони в цвету.

Но, если все же выбрать мне дадут,
я предпочту дожждаться клятвы клейкой,
увидеть сад с сиренью да скамейкой
и, все отдав, навек остаться тут...

* * *

Все подстроено так, чтоб сказать: «Что за вечер в окне,
что сегодня за тишь, что за вирши напишутся за ночь!
Тут, из гроба взойдя, прослезясь, позавидует мне
сам Гаврила Романыч!»

О Псишея моя, Царь-девица, синичка моя!

Я б «Желанье зимы» написал, да зима миновала.

Улетай хоть в Стамбул, хоть в загробные брызги края —
все покажется мало!

То незваная жизнь — затрапезный, но царственный вид, —
то, беременна мною, шатаясь в веселом ознобе,
возвратилась весна, и сосед Храповицкий храпит,
спит Мещерский во гробе...

* * *

Снимался в массовке — играл гренадера-француза,
в траншее часами курил без особого дела.
Блокнот захватил, только псевдоокопная муза
кружила на месте и выше штыка не летела.

А рядом война бушевала, и взмыленный гочкис
хлестал холостыми по длинной цепочке статистов;
и, глядя с азартом на огненно-дымные кочки,
перуны метал пиротехник, космат и неистов.

Все было, наверно, как в той непридуманной яви, —
чтоб зритель-знаток снисходительно буркнул: «Похоже».
Лежал манекен безголовый в раскисшей канаве,
и краска хлестала из ран, и мурашки по коже

бежали при виде рогатой пехоты германской,
что заполонила поросшее взрывами поле.
Мне тоже велели стрелять, и я видел под каской
убитого мною гримасу наигранной боли...

Мы их одолели, мы их превратили в окрошку,
но хмурился наш режиссер: «Что-то злобы не густо», —
и снова стрелять, и опять ощутить понарошку
абсурд и кошмар совершенного мной душегубства.

Чем кончился день — пораженьем, победою или
всеобщим братанием вместо решающей стычки —
не знаю, поскольку меня в том окопе убили
и в рай вместе с музой отправили на электричке.

БОКС

Сначала боялся... Еще бы — не праздный вопрос, когда тебе могут сломать твой классический нос. И ладно бы фейс пострадал, тут другая беда — по рингу мозги растрясти и уже никогда назад не собрать... Но втянулся и, кажется, цел мой греческий профиль, и вроде горит, как горел рассудка фонарик... Зато как выходишь на бой, всегда происходит волшебное что-то с тобой.

Тут к месту, наверное, творческий вспомнить азарт, когда оппонент, защищаясь, отходит назад, а ты наседаешь упрямо и правый прямой грозишь провести, и противник твой еле живой.

И так хорошо, когда, правилам всем вопреки, совсем ни к чему подставление правой щеки; когда получаешь по левой; когда не нужны ни жалость твоя, ни дурацкое чувство вины; когда, отбивая атаку и капу грызя, единственный помнишь закон: *открываться нельзя*.

И, с сумкой в метро возвращаясь под вечер домой, невольник усталости собственной глухонемой, ты сам — будто кто-то иной, будто кто-то иной.

* * *

Какое счастье — ливень летний
пережидаю в подворотне,
и так еще немного лет мне,
и жизнь пока что смотрит в рот мне.

И едут мимо иномарки,
битком набитые маршрутки, —
какое счастье — из-под арки
смотреть на это в промежутке,

на стыке прошлого с грядущим
в громокипящем настоящем,
весь мир застав под теплым душем,
со мною рядышком стоящим.

Всего-то два шага до дома,
но ведь никак нельзя иначе.
И кто меня дождя и грома
почетным пленником назначил?

И если бы не этих линий
косая занавесь, не гром бы, —
когда б еще фасад старинный
я изучил бы так подробно?

Со мною бабочка-бедняжка,
до нитки вымокшая кошка.
С коротким рукавом рубашка
задета брызгами немножко.

И приникает к медной коже
прохлада нежная сквозная,
и если я не счастлив — кто же
тогда счастливец, я не знаю...

* * *

С утра, с похмелья, с телефона,
с плевка в унылый унитаз,
с сухой таблетки цитрамона
начнется жизнь твоя сейчас.

Проснись, герой! Уж полдень скоро.
На плечи голову надень,
чтоб градом на нее укоры
тебе посыпал новый день;

чтобы, подняв свинцовы веки
и в зеркалах отражена,
о нерадивом человеке
тебе напомнила она

своим двоящимся овалом,
пунктиром сдвинутых бровей...
А жизнь идет. Ее навалом.
Ну, ну, лови ее скорей!

И разумею, что это счастье:
пусть и с похмельной головой,
опять, опять принять участие
в забеге суеты земной;

невольником противоречий
и жертвой мелких катастроф
быть на пороге новой встречи
с не самым худшим из миров.

* * *

Вино прольешь, уронишь на пол нож
и вот опять очнешься в настоящем,
где вновь себя внезапно узнаешь
на чьей-то свадьбе за столом сидящим.

Вот справа просят передать салат,
а слева лезут с длинным анекдотом;
и услужить, и выслушать бы рад,
но все это — неважный антидотум.

А ты! — пожалуй, поздно пить боржом
и к жизни относиться как к невесте,
скучающий на празднике чужом,
кричащий «Горько!» с остальными вместе,

что мир тебе, тобой неуловим,
и что тебе они (куда их денешь!),
все те, кому ты хочешь быть своим,
все те, кого любить ты не умеешь?

Что жизнь тебе чужая! — ведь своя,
неузнанная, топчется в прихожей,
пока сидишь, кивая и жуя,
сам на себя ни капли не похожий.

ЛЕСОПАРК

А для кого-то этот лесопарк,
где имя есть у каждой палки-елки,
куда ведут выгуливать собак,
в котором рыщут сказочные волки

из ранних снов, и Лукоморье где
свое: лишь перейди через дорогу —
увидишь отраженную в воде
всю жизнь *свою*, и скажешь: «Слава Богу»...

Да, для кого-то эта тишина
в родном полукольце стеклобетона
и есть та жизнь, которая дана
единожды и шепчет монотонно

верхушками чахоточных берез.
Тут ничего от мира твоего, но
вдруг загрустишь, и тем, кто рядом рос,
пришелец, позавидуешь невольно.

* * *

Ты вписан в этот вечер той же кистью,
которой набросали торопливо,
но четко вязь ветвей, плоды и листья,
дав ясно знать — вот яблоня, вот слива,

скамья, жасмин под синевой небесной,
и в центре — ты сидишь себе, не зная,
что без тебя весь этот сад чудесный —
не более чем ширма расписная.

Как ладно ты в пейзаж вечерний встроен,
как здесь тебе удобно и уютно!
А мастер — что ж, Он вечно беспокоен
и что-то поправляет поминутно.

Убавить свет, звезду зажечь над кленом,
сгустить дымок табачный над тобою
и сделать куст, пожалуй, не зеленым,
а серым с оторочкой голубою.

Пора кончать — глаза смотреть устали.
И так уж Он своим доволен садом
и на тебя глядит счастливым взглядом...

Но пустоту, что примостилась рядом,
не видит, отвлекаясь на детали.

* * *

Бывает, ничего тебе не надо,
лишь вечером глядеть себе из сада
на дом, любуясь яркою верандой,
что на фонарик праздничный нарядный
похожа, на игрушечный, бумажный,
где виденный — не вспомнить. И неважно.

Он где-то в детстве, среди иных материй,
в такой же шелестящей тьме затерян,
где именно — не вспомнить, и не надо,
ведь в темноте плывущая веранда
важней всего. В ней чай полночный пьется,
и разговор вполголоса ведется,
и я сейчас вернусь туда, немного
повременив, помедлив у порога.

* * *

За лето не написано ни строчки.
Едва-едва хватило сил прожить,
переползти от точки А до точки
Бог весть какой... Не то чтобы сложить
слова в стихи и строфы было трудно —
нет, просто, выйдя ночью, не понять,
что в небесах торжественно и чудно,
что саду тихой дрожи не унять,
что шепчутся деревья — всё о звездах...
Наверное, какая-нибудь нить
внутри оборвалась и нужен роздых —
не видеть, не дышать, не говорить.
Так, испугавшись (о твои прозренья!),
себя ты утешаешь в тишине:
душа нема, но сохранила зреньё,
и все уже написано вчерне.

* * *

По тому, что природа спорит с календарем,
и жасмин упрямо в пышном цвету стоит,
и сентябрьской ночью так же светло, как днем,
и, как прежде, клен зеленый покров хранит;
по тому, что, когда, счастливый, выходишь в сад,
видишь Павла Сергеича, умершего уже
эдак лет пятнадцать—двадцать тому назад,
узнаешь, что в рай, который сулят душе,
ты уже попал... А может, не узнаешь
ничего, а просто радуешься судьбе
и, блаженный дачник, просто себе живешь
так, как прежде жил... Просто живешь себе...

* * *

Я знаю — не вечен, не вечен...
Ничто не оставит следа.
Но как не считать этот вечер
свидетельством вечности?! Да,

ты, я, мотылек и цикада,
и с ветки сорвавшийся плод
в сиреневых сумерках сада —
насельники страшных пустот,

которых не видно за сценой,
где задник расписан для нас
с любовью... Взгляни на бесценный
наш мир в этот медленный час:

и листик кружащийся — чудо,
и тучи, что в светлой тоске
плывут никуда ниоткуда,
где поезд гудит вдалеке.

* * *

Чтобы быть счастливым, достаточно посмотреть из окна на листву, растраченную на треть забулдыгой-ветром, но только не надо тут надоевших сравнений с жизнью, пускай бегут эти мысли мимо... Главное — просто так посмотреть на сквер, облачающийся во мрак, потому что вечер пришел, опоздав на час, но пришел внезапно и все, что он припас, в нетерпении сразу набрасывает на клен, и почти уже не видать тополиных крон над коньками крыш... Погляди, погляди, вот-вот он насквозь прожжет почерневший небесный свод, как окурком шторы тот, что к окну приник, оглушенный счастьем на бесконечный миг.

* * *

Пусть будет холодно и мокро,
и ветер будет рад стараться,
и леса желтизна и охра,
как после смены декораций,

исчезнут пусть; и будет серым
от наготы своей осинник,
и нищий сад стоит — растерян
и слова вымолвить не в силах;

пусть будут сумерки пустые
наш дачный дом держать в осаде —
тогда мы истины простые
поймем, в окно пустое глядя.

Чинить штаны, возиться с печью,
чесать кота, готовить ужин
и плыть неторопливой речью,
и просто быть женой и мужем

в плену осеннего уюта,
как будто нечему случиться,
пространство сузилось как будто,
и время в щели не сочтется.

* * *

Одеяло — сугроб. Вся постель моя —
снега вздыбленные валы,
и — торжественная мистерия
светотени, огня и мглы.

Эти полосы красноватые,
нагоняющие тоску, —
привидения бесноватые
пролетают по потолку.

— Вам все кажется. В темной комнате
печка топится, и сквозь щель
свет от пламени...

— Что вы, полноте,
это пушкинская метель
гонит бесов по небу полночи,
снег летит на мою постель...

* * *

Дерева разделись,
скоро уж зима...
Лейтенант Вергелис,
не сойди с ума!

Впереди два года,
ты один как сыч;
пусть дождем природа
плачет — ты не хнычь!

Как младенец соски,
не проси чудес.
В общем, философски
относись к небес

непонятной воле:
такова судьба.
Не читал ты, что ли?
Наша жизнь — борьба.

Так борись, летёха,
не сдавайся, но —
если очень плохо,
погляди в окно:

не пылит дорога,
не дрожат листья...
Подожди немного,
отдохнешь и ты.

ВОЕННЫЙ СКЛАД

С утра до обеда считаем, считаем гранаты,
и все не кончается ящиков черных стена,
а там и другая, и третья, а там — автоматы
и мины... «Короче, работы еще до хрена, —

басит наш майор, первый зам по технической части,
жуя беломорину: — Эх, закурить-то нельзя,
а то ведь рванет...» — «Ну и пусть, не великое счастье
торчать в этом склепе», — ты думаешь, взглядом скользя

по странным и жутким предметам. Все это еще не
проснулось для *дела* и смирно лежит, ни гугу.
«Здесь смерть затаилась... Что в мире ее изощренней?» —
дежурная мысль пацифиста застряла в мозгу.

Майор матерится: опять, верно, сбился со счета.
Ты будто не слышишь, ты смотришь, печален и нем,
как пестрая бабочка вдруг залетает в ворота
и, словно на стебель, садится на ствол АКМ...

* * *

Уже ненавидишь тот лес,
и эту речонку, и эту
деревню, и даже небес
кусок над казармой, и Свету,
медичку, с которой уже
два месяца спишь. Впрочем, спишь ли,
фантом, подпоручик Кижже?..
Слова, как и деньги, все вышли,
и не описать, как пусты
недели, которым потом лишь
найдешь оправдание... Ты
с любовью и нежностью вспомнишь
все это когда-нибудь в том,
другом измеренье; с тоскою
увидишь пейзажик с леском,
с деревней и мутной рекою.
Так не торопись проклинать
все то, с чем придется проститься,
и глупую милую блядь —
ефрейторшу-фельдшерицу...

* * *

Можно, не чистивши зубы
и вицмундира не сняв,
лечь, ежедневный сугубый
жизни нарушив устав.

Даже не слишком усталым,
даже не очень больным,
как бы меняясь местами
с кем-то упившимся в дым,

с кем-то, чья жизнь — в беспорядке,
но бесконечно мудра,
кто в мусикийском припадке
не шебаршит до утра...

Можно, Морфею вверяя
всю свою душу и плоть,
в липкую дрему ныряя,
разом судьбу побороть.

Всех обмануть, не проснуться.
Или проснуться — не тем,
чтоб никогда не коснуться
вечных мучительных тем.

Не оправдать ожиданий,
жизнь пробежать налегке, —
думаешь, нервно сжимая
щетку зубную в руке.

* * *

Наконец-то вернулся... И что же? Стоит, как стоял,
о пяти головах Исаакий на каменной гати,
Эрмитаж бесконечность миров бесконечностью зал
повторяет, как прежде. И так же над крышами ал
прошлогодний закат... Воротился, поплакал, и — хватит.

Не вздыхай, без тебя никаких не случилось чудес,
не ищи никаких превращений в оставленном мире.
Ты опять — лишь одна из теней, проживающих здесь
с постоянной пропиской в большой коммунальной
квартире.

Разве этого ждал ты от дня возвращенья домой
и такого ли видел себя на классическом фоне?
Но ведь рад, напевая про «город над вольной Невой»,
хлебный мякиш бросая двуглавым орлам и одной
на ограду присевшей и вроде знакомой вороне.

* * *

— Страшно подумать: когда б, на Кавказе, в Крыму ли, малость точнее летели осколки да пули и на груди усача санитары рванули весь окровавленный артиллерийский мундир,

что — неужели им не было б вовсе спасенья, им, не родившимся? Нет, не согласен совсем я; разве могло бы «Казаков» не быть, «Воскресенья», разве могли б мы не знать, что — война, а что — мир?

Стоп. Ну а Лермонтов как же, а Надсон, а Гаршин (век позапрошлый рассмотрим пока, ибо страшен слишком уж век предыдущий)? — светильник погашен; сколько страниц не написанных ими? — Постой.

Хватит терзаться, включи телевизор покуда. Тот же Кавказ: ну откуда мы знаем, откуда, кто в этом ящике цинковом — новое чудо русской словесности или поручик простой.

* * *

Парикмахерши-ударницы
обслужили целый взвод.
И курсантик улыбается,
как ребенок: Новый год.

Он для всех, как неизбежная
радость, молодость и грусть.
У комендатуры нежные
мысли лезут... Ну и пусть

прут себе гурьбой нахрапистой —
не в строю, не на плацу.
Видно, в этой парикмахерской
как гражданскому лицу

мне не светит стрижка с кантиком.
Как не светит никогда
обернуться лейтенантиком,
под шумок пролезть туда,

в Новый год и в медучилище
на весьма полезный бал —
чтобы барышне в ночи еще
в ушко что-нибудь шептал,

чтобы, жизнью не обиженный,
шел в казарму поутру,
чтобы мой затылок стриженный
холодило на ветру.

ОРАНИЕНБАУМ

В дивном краю, где печально голштинский кузнечик
смотрит на нас сквозь слепую листву померанца,
в строгом раю прирученной воды, этих речек,
льнущих к заливу, рискуешь навек потеряться.

Что горевать о балах да двуглавых наседках!
Выпьем вина, нам знаком аромат его, — или
это не мы флиртовали в зеленых беседках
и поцелуи украдкой друг другу дарили?

Что ты так долго глазами усталыми ищешь?
Сумерки входят в пустые аллеи неспешно.
Тени смешались. Пора возвращаться. Но слышишь:
вязы вздыхают — они нас узнали, конечно.

* * *

Снился кораблик с мачтой,
ветром на свет несомый...
Ночь была так длинна, что,
все повторяясь, сон мой
стался узнаваем
и обмануть не мог уж.
Как мы переживаем
миг расставанья с раем!
Нам нужно счастье, Богу ж
нужно, чтоб мы любили
и просыпались, плача.
Счастья морские мили
вместе проплыть — удача
слишком невероятна,
слишком желанно это...
Вот и летишь обратно —
к тихому морю света.

* * *

Алексею Машевскому

Эта ночь — будто смерть черна.
Просыпаешься, и опять...
Невозможность обнять равна
невозможности жить, дышать.

Только вот и дышать, и жить
можно сколько угодно без
этих плеч — продолжай тужить,
проклинай немоту небес,

эту черную ночь без сна,
эту страшную тишь да гладь.
Невозможность обнять дана
для того, чтобы все понять;

чтобы, крикнув: «Умри, истлей!» —
все на свете благословить...
Невозможность обнять светлей
невозможности полюбить.

* * *

— Не унывай... До самого трамвая
зачем-то проводила и сказала:
«Не унывай». И я, не унывая,
доехал до Московского вокзала,
где без унынья взял билет на скорый,
и застучали весело колеса...

Не унывал попутчик мой, который
на мой ответ не находил вопроса —
как будто знал, что цель моей поездки,
в какой не помню город, не известна
была мне самому. Никто повестки
мне в ночь не слал, мог ехать, если честно,
я в сторону другую с тем же самым
успехом и с попутчиком похожим
в бескостном трепе, в пьянстве неустанном
и тоже без уныния, положим...

Поскольку для унынья не осталось
тогда ни закутка, ни закоулка.
Лишь ночь в окне чернильная болталась
и дробь в мозгу отстукивала гулко.
А мысли, шевелясь в коньячной тине,
захлестывало ужасом... Чего там,
я знал, что мертв, что нет меня в помине...
И хохотал над глупым анекдотом.

* * *

С одной бутылки пива опьянел...
Лишь Бог увидит злые слезы наши
здесь, над пруда дымящеюся чашей,
где вечный лебедь, словно мрамор, бел.

Пусть виршеплет напишет, мол, болит
душевная, как говорится, рана...
Но умирать не хочется — так странно,
и ветер лоб так славно холодит!

«Герзай меня — не изменюсь в лице», —
читаю вслух, а сам дождя мокрее.
Жизнь хороша под волчий вой Борея
и даже в послесловии, в конце.

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ

Я здесь, я внизу, растираю слезу,
дрожа, по шершавой щеке...
А хочешь, шепчу, я тебя отвезу
к той самой — ты помнишь? — реке,

где, ставя палатку (никто не умел,
но каждый старался, как мог),
мы стали другими: я — весел и смел,
а ты — как вода и песок,

как шумные волны прибрежной ольхи,
ловившей в объятья ветра...
Как славно читались плохие стихи
тогда под урчанье костра!

Поедем, поедем, отложим дела,
забудем свои пустыки,
не зная, что чья-то рука отвела
знакомое русло реки

туда, где теряется свет голубой,
туда, где (я плачу, прости)
мы больше не сможем, не сможем с тобой
в знакомую воду войти.

* * *

Забыть одну в объятиях другой —
еще у Гете вычитан давно был
совет... Но боли — слишком дорогой —
до боли жаль, поскольку высшей пробы
тоска невыносимая — пускай —
удушье невозможное — продлится...
И ты твердишь себе: «Не отпускай
свою беду, ты должен с ней сродниться,
ты должен стать ее поводырем,
она пойдет, как нищенка, с тобою.
Ты, может быть, свихнешься с ней вдвоем,
но лучше так, чем пробовать с другою,
надеяться на призрачный авось,
когда ничем не заменить потерю...»

Но Гете мне подмигивает: «Брось!»
И я на этот раз ему поверю.

* * *

Хуже склепа холостяцкая квартира —
муха плавает в холодной чашке чаю...
Нынче, милая, из всех поэтов мира
лишь Катулла я поэтом величаю.

Всё одно мне — что сосед мой алкоголик,
что Гораций, позабытый мой любимец,
что георгик сочинитель да буколик —
даром что почти однофамилец.

Мне никто из них не мил. По крайней мере
не мокры мои глаза от их табличек.
Плачь, Венера, плачьте, милый Гай Валерий!
В мире нет печальней вида мертвых птичек.

...Небо Рима багровеет, догорая.
Прощатался по квартире целый день я...
Что на это мне ты скажешь, дорогая?
От безделья это, знаю, — от безделья.

* * *

Уж куда Амуришке-коротышке
сделать чувство вечным... Ах да, Амата,
у тебя в заложниках мои книжки,
что тебе почитать я принес когда-то.

Не любовь, не счастье — одна мечта лишь,
говорится там, может вечно длиться.
Их читай подольше, а дочитаешь —
вновь начни от страницы идти к странице.

Не спеши вернуть мне плоды бесплодных
тех писак — читай, пожимай плечами
в час, когда светило идет на отдых
и свистит на кухне вечерний чайник.

Пусть хоть в этом что-то меж нами будет...
Там написано — помнишь? — «дыши, надейся».
Сохрани ж те ворохи словоблудий,
вспоминай хоть изредка их владельца.

* * *

С телами из горошин бирюзы,
топя твой мозг в полупрозрачных звуках,
две перламутровые стрекозы
приклеились в объятых многоруких
к заштопанному платью твоему.
А ты сидишь в шезлонге без движения.
Их страсть, не постижимая уму,
расшевелит твоё воображенье,
и ты припомнишь прошлогодний сон,
и собственные крылья слюдяные,
и глянец глаз, и мотыльковый сонм,
июльский пир, что был метлой сметен
в беззвучие зимы, в края иные,
где лепестков сухая чепуха
мешается с хитиновой трухую,
где слов произнесенных шелуха
течет в небытие рекой сухою...

Но как её воспринимать всерьёз,
когда ты видишь этих двух стрекоз?

* * *

Все кончится... Еще немного дней
пройдет — на смену боли и смятению
придет покой. Элизиум теней
обогатится новой нежной тенью.
И с жалобами робкими, без слов
к ней выйдут непривычные к веселью —
кто с зеркальцем, кто с баночкой духов,
к унылому готовясь новоселью;
к ней выйдут и безмолвно станут в круг,
свои дары протянут виновато.
Поросший асфоделями тот луг —
душа твоя. Оттуда нет возврата.
О чем же хор бесплотных голосов
поет в долине той, в стране печали,
пустых полей, бестрепетных лесов,
куда, Орфей, спускаешься ночами?..

* * *

По городу шел вечер смуглолицый,
особых не имеющий примет,
когда я чуть не стал самоубийцей
в шестнадцать лет.

Бывают ведь дурные совпадения!
Все было сразу: сон, письмо, звонок,
зубная боль и двойка, — в этот день я
был как никто на свете одинок.

К шестнадцати-нерадостному-летью,
я помню, презрительно ошалел:
заигрывая с собственной смертью,
тайком надел отцовскую шинель,

в петлицу сунул розу и на крышу
забрался, романтический герой...
Я ничего не вижу и не слышу.
С раздавленной планетой головой

я до сих пор лежу, и двор — как ящик,
накрытый небом... Я лежу сто лет
среди мелом нарисованных ромашек
и бабочек. Меня на свете нет.

А тот, другой, что отроком безусым
уже стоял одной ногой в раю,
любитель роз, что оказался трусом,
остался плакать бездны на краю.

* * *

Молчи, проклятая шкатулка!
Осип Мандельштам

...Такой была, наверно, тишина
еще *тогда*, до сотворенья мира,
и первозданным хаосом квартира
уже себе казалась, но струна

в рояле, лопнув, обратила в слух
застывшие вне времени предметы.
Реальности печальные приметы
возникли вновь. Закат в окне потух.

Все было, как обычно: на стене
портреты предков выстроились чинно,
почти столетье хмурился мужчина,
разглядывая шкаф через пенсне.

Все было, как обычно, только стул
беспомощно, как жук, четыре ножки
вверх вытянул, как будто понарошку,
играя, тот его перевернул,

кто день провел в отчаянье глухом
и вечер в малодушии проплакал,
кто сдвинул стол и люстру сбросил на пол,
кто, как мешок, висел под потолком.

...Уже опять из тесного мирка
в беззвучье жизнь куда-то уходила,
но телефон в кармане пиджака
заставил вздрогнуть все, что в доме было.

Кем был звонивший? Может быть, о нем
приятель старый вспомнил за бокалом
или кто-то с примиреньем запоздалым
звонить спешил в предчувствии дурном?

И тело опустевшее, уже
привыкшее быть частью обстановки,
как будто шевельнулось, и душе,
летающей через ночь без остановки,

пришлось замедлить лет печальный свой.
Но ей, слепой, не помнящей ни слова,
ни шороха из языка земного,
не повернуть, не повернуть домой.

* * *

Удельные, уездные, районные,
в столетиях увязшие по крыши,
обсиженные снами и воронами...
Где Бог-старик, туманом вас укрывший?

Он где-то здесь, в треухе да в тулупчике,
прищурившись, на площади базарной
глядит себе, как суетятся купчики,
как солнце льется медью самоварной.

Махорочною дымкой расплывается,
смеется над туристом-ротозеем,
которому так запросто является
бабушкой в краеведческом музее.

* * *

В райке райцентра, занесенного,
как снегом, — пухом тополиным,
в тиши мирка блаженно сонного,
где каждый тополь — исполином

стоит на фоне двухэтажного
краснокирпичного квартала
(такого детского, бумажного,
ненастоящего), устало

бредет с работы мимо булочной
провинциал, неделей раньше
над этой пылью переулочной
шестой десяток разменявший.

Одышка, пух, прилипший к брючинам,
кирпичный дом, пивная, ясли...
Маршрутом, с юности заученным,
он будет шаркать восвояси

и вдруг — посмотрит с беспричинною,
для здешних мест такой шикарной,
чужой, нездешнею кручиною
аптечно-улично-фонарной

на переулок, обескровленный
в тмутараканской этой спячке,
на тополиный дым над кровлями,
на грузовик у водокачки...

* * *

Я все это знал...
Улетали птицы...
Эдуард Багрицкий

Пароход, дымя, отплывает в Ниццу.
За волной волна — как за строчкой строчка.
Иудейский мальчик, держащий птицу
в тонких пальцах, с палубы — просто точка.
Птицелов, не птиц — голоса ловящий,
продувного Понта густые речи...
Старый мир стоит, словно сон, навязчив —
ни прогнать его, ни обнять за плечи.
Трепетанье крылышек этих, ручек,
этих кружев школьных — улов пустой, но
вся тщета твоих комиссарских штучек
и усмешки девичьей недостойна.
И — солги, убей — ничего не сдвинешь
с этой точки; мальчик, печаль поймавший,
простоишь тут век — и навек остынешь,
и никто нам с палубы не помашет.

* * *

Давай пофантазируем чуть-чуть.
Ну чем не богословская проблема:
когда б случилось это где-нибудь
в Сибири, а не возле Вифлеема...

Нет в юрте ни ослят, ни верблюжат,
и снег с небес слетает, а не манна,
и не овец — оленей сторожат,
и на собаках едут три шамана,

да не доедут, видимо: увы —
из-за пурги не видно звезд, без знака
небесного теряются волхвы
и замерзают начисто, однако...

Смешно тебе? И верно ведь — смешно.
Все было там, где надо, — если было.
А если нет — не все ли нам равно?
Тогда весь мир — тайга. Пурга. Могила.

* * *

Кто жизни не жалел и битвы жар любил,
тот в памяти людей навек остаться вправе.
Блажен, блажен, кто пал, как юноша Ахилл.
О подвигах его, о доблестях, о славе

поговорим, хотя и нежность и печаль
он знал не хуже нас. Как мстил он за Патрокла!
Но Гектора, пойми, мне все же больше жаль,
и детская душа моя насквозь промокла

от слез, когда читал... О как я горевал,
и тело рисовал пронзенное в тетрадке,
и каждый раз другой придумывал финал
там, у троянских стен, произошедшей схватки.

И вот читаю вновь — как будто в первый раз,
в надежде, что в живых остался сын Приама...
Пусть смерть к нему придет — простая, без прикрас,
без бранных погремух, без ужаса и срама,

без подвигов чужих, когда-нибудь потом,
и внуки чтоб вокруг его одра стояли,
прося, чтоб рассказал (в который раз!) о том,
как с греками дрались. Как Трою отстояли.

* * *

Я был одним из тех, кто видел со стены
на море кораблей ахейских вереницу,
вплывавшую в твои младенческие сны,
Европа ветхая... Пускай тебе приснится

под неизменный шум волны на это раз
не тот, кто целовал божественные плечи,
не деревянный конь, а кто-нибудь из нас,
сидевших в стороне, жевавших сыр овечий.

Едва ли кто-нибудь услышал, что сказал
гончар, сын гончара: «Мы стали черепками», —
когда катил на нас звенящей бронзы вал
и я сжимал копьё дрожащими руками.

Что может вспомнить пыль, осколок? Трубный зов,
песком забитый рот и колесничих крики,
и душный полумрак, и тесный гурт богов —
над изголовьем глиняные лики...

СТАРИННЫЕ ФОТО

1

Опять вы достали его из комода,
опять полюбуетесь, перевернете —
там цифры неправдоподобного года
и адрес фотографа на обороте.

Старинное фото в эмалевой рамке —
ребенок прелестный и пудель поджарый,
и пышная роза в зубах у собаки...
О как вы растроганы этою парой,

и розою этой, и всей стариною,
затейливой вязью, о как же вы рады!
Фотограф усат, у него за спиною
папа́ и маман умиленные взгляды.

Не будет им лиха, не будет позора,
не будет дурного в судьбе поворота.
А роза упала на лапу Азора...
Ах, спрячьте скорее старинное фото!

Пока не моргнул этот мальчик в испуге,
увидев не птички обещанный вылет,
а века оскал, и далекие вьюги,
и нас, что над снимком печальным застыли.

2

Как было легко
в этом дне, что забыт, полустерт,
бутылке клико
разбиваться о клепаный борт!

Линкора? Эсминца?
Не важно, не важно, не ва...
Недвижные лица,
застывшие птицы, Нева...

Безвестный фотограф,
открывший на миг объектив,
потомка растрогав,
волшебным движеньем схватив

в единой охапке
и солнцем налившийся март,
и дамские шляпки,
и блеск адмиральских кокард,

кресты, аксельбанты
и всю оркестровую медь, —
неужто не знал ты,
не видел, всевидящий, ведь

напрасно все это!
И пышность речей, и салют,
и «Многая лета»,
что ангелы в небе поют

всему, чего сам
я не знаю, но странно люблю:
и сим мертвецам,
и плывущему в смерть кораблю...

* * *

В октябре моросит и становится зябко,
пахнут сыростью старые книги на даче.
Хорошо, что за прадеда вышла прабабка, —
не сидеть бы мне здесь и не зябнуть, иначе;

мне не думать, иначе, о том, что красива
мишура листопада на серой эмали
этих лужиц, не видеть барочное диво
этой осени пышной. Я смог бы едва ли

стать свидетелем чуда — кому-то на зависть,
кто из небытия не свершил перелета;
сотворить этот мир и застыть, опасаясь
что-то вдруг изменить, и увидеть на фото

господина в пенсне и печальную даму...
Я смотрю, как шевелятся тонкие губы,
и антоновку хрусткую Ева Адаму
подает, и топорщатся платья раструбы.

* * *

Что кладбище, что лес — одна природа.
Трухлявеет гранитный бурелом,
зато растут и крепнут год от года
другие поросли кругом.

Но «Здравствуй, племя!» им никак не скажешь...
Лишь изредка твой останоят взгляд
кресты и плиты, патриархи кладбищ,
что с ерами и ятями стоят.

Свидетели сияния и блеска,
они под звуки лиры и трубы
стоят среди цветущего подлеска
одни — как древние дубы.

Но те счастливы, что лежат под ними
едва ль во сне вздыхают тяжело.
Им, верно, снится Царское Село,
Карлсбад и Ницца в пароходном дыме.

Лимонный сок еще кислит их губы,
они не знают, как ухватки грубы
чужих смертей в косынках комиссарш.

Настанет день, и ангельские трубы
исполнят им Преображенский марш.

* * *

Что Психее с крыльями махаона
делать здесь, на этом ветру, трясущем
пожелтевшую шевелюру клена?
Летний сад не ровня эдемским кушам,

в октябре — особенно... В кронах пусто,
ни дриад, ни птиц... Пожилой прохожий
удивлен, смотря на зады и бюсты,
мрамор тел, покрытый гусиной кожей.

Нет, уже не рай, а скорей — Элизий;
и не души — как ни печально это
понимать, — а тени...
Гранит осклизлый
равнодушно лижет Лебязья Лета...

* * *

День удивительно пустой,
как эти улица и площадь.
Без седока в тумане лошадь
процокала по мостовой.

— Ты посмотри, как странно пуст
вечерний купол, посмотри-ка! —
хочу сказать тебе, но с уст
лишь легкий вздох... Кричу, но крика

не выдавить... Который час,
какой сегодня день недели?
Пытаюсь вспомнить, кто мы, где мы,
с тобой что связывает нас...

Но день не помнит ничего,
глухонемой актер в спектакле.
И день вчерашний от него
не отличается ни капли.

— Зачем, зачем, усталый друг, —
ты спросишь, уст не раскрывая, —
зачем, описывая круг,
летит пустой вагон трамвая;

зачем кричат над пустотой
немые чайки: «Кто вы? Кто вы?»;
зачем по площади пустой
беззвучно цокают подковы?

И кто так пристально следит,
из окон кто следит за нами?
И кто в пустом седле сидит,
звоня пустыми стремянами?

* * *

Пройдет еще сто лет, и всё покроют воды,
и вместо тополей тут волны зашумят,
и питерский чудак, сей пасынок природы,
моллюскам и рачкам уступит Летний сад.

Вообрази себе: морская гладь сплошная,
лишь газовый колосс торчит из синевы...
Что ж, надо привыкать... И ракушка ушная,
в которую шепчу, и хмурый плеск Невы

смирят разум мой с победой Посейдона,
о коей все вокруг оракулы твердят.
И если не вода — нас времени бездонный
накроет океан. Закончится парад

соборов и казарм, оград иobelisksов.
Ни отзвука шагов, ни тени, ни следа.
И что теперь гадать, насколько это близко...
Не спрашивай когда, не спрашивай когда.

А лучше — оглянись: над зданием Сената
редет облаков летучая гряда...
Взгляни, каким Нева сиянием объята,
как плещется ее нестрашная вода.

* * *

На уроках немецкого путал он постоянно
эти два слова. И даже когда уже
в оригинале читал Манна и Эккермана,
ошибался, бывало... Только на рубеже,

за которым, наверно, не надо быть полиглотом,
чтобы понять другого, он перестал
напрягаться. И правда хватит уже, чего там,
если ни то ни другое не поднести к устам,

если вдруг понял, что это угрюмое Leben
в нежную Liebe странно перетекло,
если уже заказан по ним молебен
и чем-то третьим зренья заволокло.

* * *

В последний день над Прагой был туман,
и весь тяжеловато-желтоватый
трехзвездный муравейник «Океан»,
пока мы спали, был обложен ватой.

Отель — не храм. Пустяк, стекляшка. Но
все велено беречь. И вот повсюду,
завернутые в белое сукно,
укладывали (как в сундук посуду,

пускаясь в долгий путь) дома, мосты.
Трамваи тоже пухом облепили.
Глядишь — с пятиэтажной высоты
едва видны готические шпили

и телебашня, что в ручную кладь
с собою брать желанья нет, но все же...
Пора нам тоже вещи собирать,
пора и нам пропасть в тумане тоже,

чтоб где-то там, среди иных громад,
в иных туманах не было забыто
то место, где, укутанные, спят
Пороховая башня, Княжий град,
волшебный мост и Дом святого Витта.

Содержание

«Увы, среди лирических светил...»	5
«Обманутые оттепелью вишни...»	6
«Не для меня придет весна...»	7
«Досадно было б умереть весной...»	8
«Все подстроено так, чтоб сказать: «“Что за вечер в окне”...»	9
«Снимался в массовке — играл гренадера-француза...»	10
Бокс	11
«Какое счастье — ливень летний...»	12
«С утра, с похмелья, с телефона...»	14
«Вино прольешь, уронишь на пол нож...»	15
Лесопарк	16
«Ты вписан в этот вечер той же кистью...»	17
«Бывает, ничего тебе не надо...»	18
«За лето не написано ни строчки...»	19
«По тому, что природа спорит с календарем...»	20
«Я знаю — не вечен, не вечен...»	21
«Чтобы быть счастливым, достаточно посмотреть...»	22
«Пусть будет холодно и мокро...»	23
«Одеяло — сугроб. Вся постель моя...»	24
«Дерева разделись...»	25
Военный склад	26
«Уже ненавидишь тот лес...»	27
«Можно, не чистивши зубы...»	28
«Наконец-то вернулся... И что же? Стоит, как стоял...» ...	29
«— Страшно подумать: когда б, на Кавказе, в Крыму ли...» ...	30
«Парикмахерши-ударницы...»	31
Ораниенбаум	32
«Снился кораблик с мачтой...»	33
«Эта ночь — будто смерть черна...»	34
«— Не унывай... До самого трамвая...»	35

«С одной бутылки пива опьянел...»	36
Сентиментальное	37
«Забить одну в объятиях другой...»	38
«Хуже склепа холостяцкая квартира...»	39
«Уж куда Амуришке-коротышке...»	40
«С телами из горошин бирюзы...»	41
«Все кончится... Еще немного дней...»	42
«По городу шел вечер смуглолицый...»	43
«...Такой была, наверно, тишина...»	44
«Удельные, уездные, районные...»	46
«В райке райцентра, занесенного...»	47
«Пароход, дымя, отплывает в Ниццу...»	48
«Давай пофантазируем чуть-чуть...»	49
«Кто жизни не жалел и битвы жар любил...»	50
«Я был одним из тех, кто видел со стены...»	51
СТАРИННЫЕ ФОТО	52
1. «Опять вы достали его из комода...»	52
2. «Как было легко...»	53
«В октябре моросит и становится зябко...»	54
«Что кладбище, что лес — одна природа...»	55
«Что Психее с крыльями махаона...»	56
«День удивительно пустой...»	57
«Пройдет еще сто лет, и всё покроют воды...»	59
«На уроках немецкого путал он постоянно...»	60
«В последний день над Прагой был туман...»	61

Александр Вергелис
В ЭПИЗОДАХ

Художник *Александр Дашевский*
Корректор *Александр Леонтьев*
Верстка *Любовь Возжакина*

Издательско-полиграфическая фирма «Реноме»
ISBN 978-5-91918-018-0



Подписано в печать 09.06.2010. Формат 84×108^{1/32}.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,4. Тираж 300 экз.
Заказ № 018-0.

Отпечатано в типографии
издательско-полиграфической фирмы «Реноме»,
192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 40.
Тел./факс (812) 766-05-66
E-mail: renome@comlink.spb.ru
www.renomespб.ru